

Елена Пенская

Учителя и ученики в семействе Сухово-Кобылиных  
(К проблеме биографических корней историософии автора драматической трилогии «Картины прошедшего»)

---

«Воспоминания о детстве и юности» Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир, урожденной Е. В. Сухово-Кобылиной, известной в литературе под именем Евгении Тур (РГА-ЛИ. Ф. 447. Оп. 1. Ед. хр. 1) (1820—1840)» — историко-культурный документ, насыщенный мелкими и крупными деталями, описаниями быта<sup>1</sup>. Двойная «оптика» пишущего, припоминание детских впечатлений, проступающих сквозь толщу пережитого, позволяет и читателю, и автору реконструировать сложные и тонкие сюжеты — отношения между людьми, богатое и многослойное устройство жизни. Эти нюансы, реконструкция событий полувековой давности дает ключ к событиям, положениям и характерам, что зарождались в первой трети XIX века, а в полной мере оформились к середине столетия и даже к концу его.

Самостоятельный пласт, инкрустированный в текст мемуаров, — портретные зарисовки, беглые и подробные, субъективные, острые, прочно осевшие в памяти. В мемуарах не столь важны «правда» или «вымысел», неизбежные искажения. В них важна цепкость зрения, несущая в конструкции особый смысл, историческую и психологическую ценность. Так, «притчевыми фигурами» становятся наставники, воспитатели детей; один из самых отчетливых и завершенных портретных лейтмотивов — известный ученый, правовед Федор

---

© Elena Penskaya, 2012

© TSQ 42. Fall 2012 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

<sup>1</sup> См.: Пенская Е. Н. «Потерянный рай» Евгении Тур (Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир и ее «Воспоминания») // Toronto Slavic Quarterly. 2012. № 39. [http://www.utoronto.ca/tsq/39/tsq39\\_penskaya.pdf](http://www.utoronto.ca/tsq/39/tsq39_penskaya.pdf)

Лукич Морошкин (1804—1857). Возвращения в тексте к коллизиям, связанным с Морошкиным, образуют словно бы самостоятельное мемуарное «наваждение». Становится понятным, что Евгения Тур даже по прошествии многих лет не может освободиться от своих детских переживаний, связанных с этим человеком.

Данный сюжет, кроме своей фактической историко-литературной значимости, любопытен еще и тем, что позволяет отчетливо реконструировать эпизоды скрытого и открытого антагонизма, противостояния двух родственников, двух писателей — Александра Васильевича Сухова-Кобылина и Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир. Что хорошо брату, то мука сестре — всегда: в детстве, в ранние долитературные годы и позднее, когда оба в литературе займут по отношению друг к другу взаимно игнорирующие, далеко не дружественные позиции. Морошкин, сам того не желая и не предполагая, оказался лакмусовой бумагой в истории семейных отношений и шире — в истории литературных несовместимостей, расхождений и отталкивания. Степень болезненности и остроты никак не сглаживалась, а может быть, порой, усугублялась родственной близостью. Морошкин — злой, иногда забавный, гений для сестры; для брата — наставник, всерьез заложивший те ценностные основы, что позднее мировоззренчески проросли и дали свои плоды в понимании исторической судьбы России.

Ниже мы приводим фрагменты из «Воспоминаний» Евгении Тур (Елизаветы Салиас-де-Турнемир). Эти отрывки, касающиеся Федора Лукича Морошкина, образуют микроповествование внутри крупного нарратива. Они воспроизведены в той последовательности и логике, как расположены в главном тексте. В скобках указаны страницы рукописи.

\* \* \*

Большая, деревянная, довольно грязная лестница из больших сеней вела в длинную переднюю, также несмотря на все ссоры моей матери с лакеями не совсем чистую; из нее

направо и был ход в [весьма нечистый] темный буфет, и лесенку, которая шла в комнаты братьев моих и Морошкина (о нем расскажу после)... (с. 9)

...У бабушки мы пробыли недолго и, оставив у нее маленькую сестру Соню, отправились в Алексеевское, Тульскую деревню моего отца. В ней мы бывали редко, и я с раннего детства ее никогда не могла терпеть. Дом господский был маленький, неудобный, около грязной конторы, в которой сидели грязные конторщики. Насупротив него стоял небольшой флигель, в котором жил немец Карл Иванович (фамилию его не помню), управляющий. Он был злой немец, ругался с утра до вечера; у его крыльца стояли мужики, ожидая чего-то, с виду весьма несчастные. Я заметила это и без всякой другой причины не терпела этого немца. Отец говорил, что он отличный агроном. И в Алексеевском пробыли мы недолго и двинулись в путь в следующем порядке. Впереди, в четвероместной крытой коляске, запряженной шестериком, сидел отец, я [и] брат Александр, и Морошкин (с. 17).

...А мы, дети? Мы жили отлично. Мы бегали по саду, мы завели лодку и длинные, длиннейшие шесты, которыми упирались в землю, быстро двигая лодку. Я любила так страстно кататься на лодке, стоя на носу ее и отталкивая лодку шестом, что проводила целые часы на прудах и каналах. Учились мы немного. Морошкин... мучил нас... (с. 21).

...Ехать к Шепелевым<sup>2</sup> казалось нам верхом счастья. Но Морошкин начал твердить, что нас слишком балуют, слишком много доставляют нам рассеяний. Мы ездили к Шепелевым всякое воскресенье, но мать наша, вняв его внушениям, стала брать нас с собою только два раза в месяц. Нельзя вообразить, какое это было мне горе. Бывало, подходит воскресенье — знаю, что поедет туда мать и не возьмет с собою, — сердце так и замрет. Бывало, она уедет, а меня, несмотря на воскресенье, засадят за арифметику, и, бывало, безутешно я плачу и со зла ничего не делаю. На другой день брань, наказания и моя неприязнь к Морошкину всё росла и росла... (с. 34).

---

<sup>2</sup> Шепелев Дмитрий Дмитриевич, генерал-лейтенант — дядя матери Александра и Елизаветы Сухово-Кобылиных.



Федор Лукич Морошкин. Фотография с портрета 1843 г.

...Морошкин ревновал каждого вновь у нас появившегося лица. Но Максимович<sup>3</sup> сумел так устроить, что Морошкин гля-

---

<sup>3</sup> В начале 1830-х гг. мать Сухово-Кобылина пригласила для домашнего образования старшей дочери Елизаветы и Александра самых известных профессоров Московского Императорского университета: знатока изящной словесности, поэта и переводчика Семена Егоровича Раича, историка литературы и магистра физико-математических наук Михаила Александровича Максимовича, критика, эстетика и фельетониста Николая Ивановича Надеждина, Федора Лукича Морошкина. В доме Сухово-Кобылина часто бывают историк и писатель Михаил Петрович Погодин, профессор словесности Степан Петрович Шевырев... Так возник литературно-ученый салон «в Приходе Харитония в Огородниках» — один из самых именитых в первопрестольной (см.: *Погодин М. П. Письмо М. А. Максимовичу. 1871, 28 августа // Юбилей Михаила Александровича Максимовича (1821—1871). 2-е изд. СПб., 1872. С. 52*). Михаил Александрович Максимович (1804—1873) — филолог, историк, поэт, фольклорист, ботаник. Благожелательно и спокойного Максимовича любят и ценят в доме не в последнюю очередь по контрасту с Морошкиным. «Дети» сохраняют с ним и «взрослые» отношения впоследствии. С Максимовичем, к примеру, связан миф о знакомстве Александра Сухово-Кобылина с Гоголем. Этот миф в деталях ретранслируется позднее, в конце 1890-х гг., журналистом Ю. Д. Беляевым. Он содержит два эпизода: первый — доставка письма от Максимовича к Гоголю в Киев; второй — встреча с Гоголем на корабле во время путешествия по Средиземному морю (см.: *А. В. Сухово-Кобылин. Pro et Contra. СПб., 2010. С. 200*). Со своей стороны Елизавета Васильевна, тепло относясь к Максимовичу, то сближалась с ним, то удалялась, подолгу не встречаясь и не переписываясь. Но кончина Гоголя в 1852 г. вызвала у нее эпистолярный «взрыв». Описание похорон, всемосковского прощания с кумиром, — одно из самых пронзительных в общем хоре голосов и рыданий осиротев-

дел на него без неприязни и выносил его больше, чем других. Максимовичу рассказывали, бывало, анекдоты о Морошкине, а он научил меня смеяться его чудачествами и глупостью, нелепыми семинарскими выходками, научил меня не злиться, а жалеть его, как полоумного. Я помню, как добродушно смеялся Максимович, когда я ему рассказывала, что Морошкин во время моей очень незначительной болезни, приходил в мою комнату и, видя на столе лекарства, спрашивал:

— Ваши?

— Мои!

— Что, помогают?

— Да, помогают!<sup>4</sup>

Тогда он быстро схватывал склянку и, не тудясь налить лекарство в чашку или ложку, <...> подносил пузырек ко рту, закидывал назад голову и — буль, буль, буль — пил с ожесточением мою микстуру. Напрасно кричали: «Что вы? Что вы? Ведь это от моей болезни. Вам это может повредить!» Отпив довольно, он ставил пузырек на стол и чмокал языком, будто выпил нектар. Одеваться он любил по последней моде, и когда примерял платья, то не мог вынести ни малейшей, ни тени складки. Лишь только складки показывались (а они показывались непременно, ибо он перегибался перед зеркалом) он принимался нещадно бранить мастерового, принесшего платье, и брань его, возрастая *crescendo*, доходила до ругательств. Он разъярялся, кричал, топал ногами; на крики его сбегались слуги, горничные, дети и звали друг друга, как на спектакль. Бесясь, он не видел ничего и никого, а мы все кучкой жались за дверями и умирали со смеху, хотя сильно побаивались, что он увидит нас и пустит в нас чернильницей, книгой, подушкой — словом, чем ни попадя. Иногда так и случалось. Бывало, увидит и завизжит: «А вы чего? Дворянчики, белоручки, вон отсюда!» И за этим летит что-нибудь, а мы — все врассыпную — летим из комнаты, с лестницы, с криками и смехом. Иногда встречал нас отец.

— Что такое? — спрашивал он.

---

ших современников (см. письмо Евгении Тур Михаилу Максимовичу от 28 февраля 1852 // Русский Архив. 1907. № 11. С. 438).

<sup>4</sup> Две последние фразы написана на полях.

— Федор Лукич прогнал.

Отец, бывало, подойдет к лестнице, которая вела наверх к Морошкину, и скажет громко:

— Полно бесноваться! Все смеются, точно помешанный!

И притихнул Морошкин. Он боялся патологически отца моего, но просьбы, выговоры и даже ссоры моей матери с ним не имели на него ни малейшего влияния. Однажды, разбесившись на портного, он вдруг скинул сюртук из тончайшего английского сукна и, взяв огромные ножницы для бюро, принялся его резать в мелкие кусочки, а кусочками осыпать обезумевшего мастерового, который стоял перед ним прямо как аршин, бледный как полотно; куски сукна летели на него, и он был засыпан ими. Разумеется, понесли по дому братья мои, что Морошкин опять беснуется, и все мы собрались смотреть на представление. Помню до сих пор перепуганную... неподвижную фигуру портного, осыпанного кусками сукна. Морошкин перед ним, блестя глазами, резал и кидал, резал и кидал, приговаривая: «Вот тебе! вот тебе! вот тебе!» Затем <последовало>: «Вот! Мошенник, разбойник, вон, вон, вон!» И, повернув несчастного, он толкнул его (он никогда не толкал больно), сохраняя среди бешенства какое-то добродушие, и портной стремительно побежал из комнаты и загремел с лестницы. Мы, разумеется, хохотали до слез и убежали вслед за портным. В другой раз (тогда Морошкин писал диссертацию на магистра) ему вошло в голову, что диссертация плоха и ему не получить магистра. Немедленно начал он монолог:

— Дрянь! Гадость! Где мне? Куда мне? Семинарист! Попович! Заскорузные руки!<sup>5</sup> Где тебе! Сейчас надену фризую шинель и пойду по кабакам. Да! Да!

---

<sup>5</sup> На полях от автора: «У него действительно кожа на руках была как пергамент, темна и заскорузла от полевых работ, которые он справлял в юности. Он употреблял, но напрасно, всевозможные снадобья, чтобы исправить кожу и сделать ее мягкою и белою, как у „дворянчика“. Он выписывал разные снадобья по рецепту лечбника Пекина, делал мази, натирал руки и надевал перчатки на ночь, которые поутру валялись везде, пропитанные салом и жиром мази. Но ничего не помогало: руки его остались, как были».

Затем он вскакивал, ерошил себе волосы и кидался на тетрадь. Вмиг диссертация, стоившая стольких чтений, трудов, [дней и ночей] стольких усилий, превратилась в грудку оборванной на мелкие клочки бумаги. К счастью, он захватывал много листов зараз, не мог разодрать их, мял, кидал, топтал ногами, и наконец, выбившись из сил, бежал в сад. Максимович тогда гостил у нас. Он пришел ко мне.

— Знаете ли, что сделал сумасшедший? Ведь он разорвал всю диссертацию. А потом, не далее как завтра, будет в отчаянии и начнет старую песню о том, что у него судьба-мачеха. Экий безумный. Знаете ли что? Соберем мы эту диссертацию, сошьем разорванные листки, приберем смятые и только надорванные, и когда он завтра уймется и станет слабеть, отдадим ему.

Я не любила Морошкина, и страшно мне было видеть его, но я согласилась охотно. Мы, я и Максимович, пошли, собрали смятые клочки бумаги, снесли все в диванную комнату и занялись, собирая книжки и сшивая их. Через два дня диссертация оказалась, кроме нескольких уж очень изорванных листов, сшитой и прилаженной. Смешно было нам. Максимович приладил куски к кускам, а я стояла с иголкою и сшивала их. Немыслимо себе представить, какая это была египетская работа и какой мозаикою представляли животрепещущие, на живую нитку нанизанные кусочки, из которых составлялись страницы.

Действительно, дня через четыре бегавший по лесам, полям и дугам Морошкин повесил нос и прикорнул на диване.

— Что, батюшка? — спрашивал у него Максимович.

Морошкин так и вскочил, как ужаленный змеею.

— Что? Погубил себя! Погубил! Погубил! Вот тебе, башка дурацкая, олух! Неуч, скотина!

И он неистово бил себя кулаками по голове, мне даже жаль стало.

— Ну, ну, — приговаривала я, — не все пропало.

— Всё, всё, в кусочки, в мелкие кусочки изодрал, истерзал, стубил работу целых шести месяцев! Шести месяцев! Да, да!

— Да уж не мучьте Вы себя, а скажите, дайте слово, что в другой раз раздирать не будете.

— Что за слово — муки, и писать не буду, а другой не могу, ей Богу, не могу!

Мы, разумеется, отдали ему диссертацию. Его восторгам не было границ, он разглядывал, гладил, клал на стол и [руками] холил свою диссертацию. Наконец, обернулся к нам:

— Вы, вы! Это сделали вы! Добрые люди! Не стою я этого!

И в первый раз в моей жизни он схватил мои руки и покрыл их искренними, горячими поцелуями. Я думаю, что в эту минуту он позабыл вражду свою со мной и действительно переменился к лучшему в отношении меня, к сожалению, ненадолго. Ему суждено было сделать мне столько зла, сколько было возможно лицу постороннему и отчасти к судьбе моей равнодушному. Но что делать? Сумасбродный человек этот не был зол, но зависть грызла его естество, и лишь только она разыгрывалась, он становился зол, даже жесток. Но об этом я буду говорить в своем месте. Морошкин ненавидел дворян, и хотя Максимович был дворянин, он ему не завидовал, зато он не мог выносить Погодина.



Михаил Александрович Максимович  
Портрет Йосефа Мукаровского, публ. 1882

Надо заметить, что ужиться с Морошкиным было крайне трудно. Он дурил по-прежнему, по-прежнему считал себя

умирающим и пил лекарства, хотя 14 вершков<sup>6</sup> росту и косою сажени в плечах, он бы мог поднять легко несколько пудов. Сила его огромная, и он знал ей цену. Бывало, разозлится и спустит с лестницы кого-нибудь, или разобьет одним ударом кулака любую крепкую мебель (с. 57).

Но сам Морошкин должен был в нашем доме поплатиться за перемену жизни. Он попал из крайней бедности в роскошную материальную обстановку. Он ел пустые щи дома, а теперь он ел за обедом самые тонкие блюда, он получал много [денег и был осыпан подарками], хор<ошее> жалованье. Перемена жизни подействовала на его здоровье. Он растолстел и страдал порой головными болями. Однажды взял он у матери моей лечебник <...> вычитал в нем что-то и приказал приготовить себе ванну, раскалить железа и окунать его в воду. Затем он сел в так приготовленную воду <...> но уже не вышел из ней. Его вытащили оттуда за мертво, с сильнейшим биением сердца (с. 67).

<...> Моя жизнь сделалась рядом наказаний; к сожалению, мы перестали ездить в Расву на зиму, и уже не было у меня учительницы-бабушки. Я, впрочем, не скучала. С утра до вечера я училась и приготавливала уроки; вероятно, знала их отлично, потому что меня никогда не наказывали за учение, а всегда за ответы слишком резкие и грубые. Морошкину недоставало разума — он иногда задавал такие уроки, что с ними не мог бы сладить не только 11-летний ребенок, но даже и 18-летняя девушка. Помню, что однажды по предисловию к Квинту Курцию<sup>7</sup>, он задал мне грамматический разбор в семь или восемь страниц. Сколько я пролила слез и чернильных пятен на эти страницы, считать невозможно. Слез не видел никто — они были пролиты втихомолку, но черниль-

---

<sup>6</sup> Рост человека составлялся из аршин и вершков, а поскольку рост взрослого человека редко бывал менее двух аршин (142 см), в данном случае речь идет о 14 вершках сверх двух аршин, т. е. 142+63, 23 = 205, 23 (2 м 5 см); вершок же сам по себе — 4,445 см.

<sup>7</sup> Квинт Курций Руф (*Quintus Curtius Rufus*) — римский историк, написавший «Историю Александра Великого Македонского» (*Historiae Alexandri Magni Macedonis*), являющуюся одним из наиболее полных жизнеописаний полководца, дошедших до наших дней.

ные пятна на книге возбудили негодование Морошкина <...> который в длинной речи объяснял мне долго, как если бы я была в семинарии, за эти чернильные пятна секли бы меня нещадно (с. 71).

...Когда он находился в добром расположении, он читал по вечерам вслух поэзию Жуковского, Пушкина, Державина, Баратынского. Мать моя сидела на диване, я забивалась за ее спину и жадно слушала, и многое запоминала наизусть. В другое время рассказывал он матери свое житье дома у отца и матери, которых любил страстно, говорил о сестре Анюте и какое ей даст приданое, когда станет человеком. Это было его выражение. Бывало, рассказывал он нам о жизни в деревне и о похождениях некоего Аксюшки, известного конокрада во всем околотке. Эти похождения заставляли нас хохотать до упаду, хохотала и мать, хохотал и он... Если бы все наши вечера были таковы, очень были бы мы все счастливы!.. (с. 75).

<...> Бедствовал, и он, приходя в себя, жаждал по старой привычке бедняка, беречь книги и все свои вещи, бросался за книгой, поднимал ее, бережно осматривал, не погнулись ли углы переплета и не помяты ли листы, и, глядя ее с нежностью, клал на свой письменный стол. Мы глядели на него частенько из-за щелей двери и смеялись втихомолку. Эти сцены сделались для меня вроде даровой комедии. Были такие сцены, что не только мы, но горничные, лакеи собирались и помирали со смеху. Напрасно мать моя уговаривала и старалась успокоить Морошкина, напрасно отец мой иногда говаривал ему серьезно:

— Полноте, Федор Лукич, ведь это все блажь!

Он не отвечал моему отцу ни слова, и при первом случае повторялась опять та же история. В доме его считали помешанным — я думаю, он и в самом деле был немного тронут (с. 77).

\* \* \*

Таков «домашний» Морошкин глазами Елизаветы Васильевны Салиал-де-Турнемир: помешанный; злой чудак, вызы-

вавший скорее отвращение. Судя по «глухим» упоминаниям она не могла простить ему вмешательство в ее романтические отношения с Н. И. Надеждиным. Морошкин был осведомлен и не поддерживал увлечения ни той, ни той другой стороны, нередко ставя в известность о своих наблюдениях глубоко чтимого им отца, хозяина дома, В. А. Сухова-Кобылина<sup>8</sup>.

Но есть и другой Морошкин. И другая линия, с ним связанная. Ведет она за пределы «дома» к университетской среде и вычерчивает серьезный мировоззренческий круг, немало проясняющий в идеологии и поведении драматурга А. В. Сухова-Кобылина.

Московский университет сыграл ключевую роль в становлении тех реальных «картин прошедшего», откуда вышел Сухово-Кобылин, чем мерил разные эпохи, которые ему довелось пережить. Свидетельства современников о нем, настолько противоположны, не схожи друг с другом, что, порой, кажется, будто речь идет о разных людях. Но в одном совпадают практически все мемуаристы: Сухово-Кобылин был человеком словно бы застывшего времени, он навсегда остался старинным персонажем 1830—1840-х гг, сохранившим университетскую культуру.

Для нас же важно разобраться в истоках сухово-кобылинских художественных идей, той сложной амальгаме философского, культурного, исторического, личного опыта, предпосылки которого были фундаментально заложены еще в студенческие годы. И Морошкин — не последняя фигура в решении этой задачи.

Напомним, что поступив в 1834 г. «своекоштным студентом» на физико-математическое отделение Московского университета, Сухово-Кобылин оказался в очень насыщенной и яркой студенческой и преподавательской среде. С ним одновременно учились многие, кому суждено было оставить глубокий след в русской культуре: Ю. Ф. Самарин, И. А. Гончаров, Ф. И. Буслаев, М.Н. Катков. Примечательно, что ни один

---

<sup>8</sup> Письма Сухова-Кобылина Василия Александровича (отца) Тур Евгении (1 апреля 1863 — 14 октября 1869 и б. д.). РГАЛИ. Ф. 447 оп. 1 ед. хр. 22.

из них не оставил каких-либо упоминаний о своем сокурснике. Ф. Л. Морошкин, историк, юрист, сотрудничавший в ту пору в «Телескопе» Н. И. Надеждина, по-своему централен для юного Александра.

«Поступить в Университет для Меня было так же Естественно, как и Ежедневно ходить на Прогулку. К этому приучил Морошкин», — записал позднее (вероятно, в 1841 г., когда слушал лекции в Берлине) в дневнике Сухово-Кобылин<sup>9</sup>.

Такой органичности вступления в университетскую жизнь способствовало приобретение некоторых привычек, навыков общения и систематической работы. Ключевую роль в этом сыграл первый наставник — Ф. Л. Морошкин (1804—1857), выпускник окончивший к тому времени этико-политический факультета Московского университета. За год до поступления Сухово-Кобылина, в 1833 г. Морошкин очень успешно защитил магистерскую диссертацию на тему «О постепенном развитии законодательства» и занял кафедру права знатнейших древних и новых народов. С большой теплотой и признательностью о нем вспоминали его бывшие воспитанники: С. Соловьев, К. Бестужев-Рюмин. Б. Чичерин, К. Аксаков.

Еще в доуниверситетский период Морошкин подарил своему воспитаннику тетрадь, назвав ее «Журнал идей, мыслей, желаний, намерений и замечаний» и сделав собственноручную надпись с автографом на первой странице: «Советую каждую неделю написать что-нибудь для упражнения в изложении мыслей — правильно и легко. Морошкин». Позже Сухово-Кобылин отдал эту тетрадь своей сестре Елизавете, которая записала: «Принадлежала Александру, но он мне ее отдал 10 января 1831 года. Елизавета Сухово-Кобылина»<sup>10</sup>.

Привычка своеобразно вести дневник, превращая его страницы в некоторое подобие журнальной «смеси», когда рядом с бытовыми заметками соседствуют выписки из книг, наброски собственных сочинений, сохранилась у будущего дра-

---

<sup>9</sup> РГАЛИ. Ф. 438. О. 1. Ед. хр. 219. Л. 37 об.

<sup>10</sup> «Странная судьба» (из дневников А. В. Сухово-Кобылина) // Встречи с прошлым. Вып. 3. М., 1978. С. 47.

матурга на всю жизнь и в каком-то смысле стала основой его поэтики.

В записных книжках Сухова-Кобылина есть замечания на докторское сочинение Морошкина «О защите владения по началам российского законодательства» (1835)<sup>11</sup>. А среди бумаг правоведа найден ранее неизвестный автограф Сухова-Кобылина: «Все в России Форма: Дело — Формальность. Моление в церкви, исповедь, причащение, иконы, посты, старообрядчество — этот огромный раскол, основанный на одной только формальности религии. Раскол, имеющий то отличительное свойство, что он есть возврат к Старине, а не прогресс. Аристократии Местничество — или аристократическое начало, основанное на внешней форме на занимаемом месте. Местничество есть Потомственное Чиновничество. Но Чиновничество и Чинопачалие само чистая формальность — и потому местничество есть наследственная формальность»<sup>12</sup>. (Близкий по смыслу фрагмент находим в дневнике Сухова-Кобылина, запись от 24 февраля 1858 г.<sup>13</sup>)

Известно, что именно с Морошкиным Сухово-Кобылин читает и обсуждает «Дух законов» Монтескье. В книгах Ф.Л. Морошкина сохранился двухтомник «De L'esprit des lois» («Дух законов»), изданный в 1748 г., в Женеве. Не исключено, что именно это издание он объяснял своему ученику, будущему драматургу. В разделе, посвященном изложению теории разделения властей, предполагавшей три ветви — законодательную, исполнительную и судебную, на примере анализа английского государственного устройства, есть вроде бы случайные и внеконтекстные пометы рукой владельца книги Морошкина, то есть его ученика А. В. Сухова-Кобылина, сделанные, видимо, в 1850-х гг.: «Англичане, образованный народ, просвещенные мореплаватели»<sup>14</sup>. Эта фраза почти дословно совпадает с репликой Расплюева в «Свадьбе Кречинского»

---

<sup>11</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 219. Л. 67.

<sup>12</sup> РО ГИМ. Ф. 1243. Оп. 2. Ед. хр. 117. Л. 10.

<sup>13</sup> Дело Сухова-Кобылина. М., 2002. С. 329.

<sup>14</sup> РО ГИМ. Ф. 1243. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 317.

(Д. 2, явл. 3): «...Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели...»<sup>15</sup>.

В дневниковых записях 1850-х гг. Сухово-Кобылина есть упоминание Монтескье, увлечение которым было также инспирировано Ф. Л. Морошкиным: «Идеи государственного права <...> Блеск мысли, свобода от школьного педантизма <...> Первый обзор законодательных учреждений в их отношении к местным и социальным условиям в различных странах <...> Объяснение этим путем различия государственных форм <...> Проложен путь к теории государственного права, которое очень долгое время находилось единственно под влиянием М. <...> Блестящ и остроумный к нему комментарий... (возможно, имеется ввиду сопровождение Destutt de Tracy [Париж, 1819. — Е. П.])<sup>16</sup>.

Видимо, общение с Ф.Л. Морошкиным не прерывалось и в послеуниверситетские годы. Вступление в новую, литературную, полосу жизни Сухово-Кобылин хотел разделить с немногими близкими. Знаменательно, что среди них — и его бывший наставник. Так, в связи с бенефисом Шумского, во время которого давалась «Свадьба Кречинского», в дневнике фиксируются важные обстоятельства: «Морошкину я послал билет <...> при следующем письме: “Милостивый государь Федор Лукич. В понедельник, 28 ноября, в бенефис артиста Шумского, даю пиэссу, написанную мною. При этом появлении моего имени в публике и в литературном мире я почел себя обязанным удержать одну ложу на Ваше имя, билет на которую здесь имею удовольствие приложить. Богатство содержания образования, данного Вами мне, может быть, должно было принести другие плоды и иные результаты, и потому я прошу Вас видеть в ныне предлагаемом мною опыте только исход моей деятельности и скорее средство удовлетворить ей, чем ее цель. Постигшее меня в прошлом году шестимесячное противузаконное и бесовестнейшее лишение свободы дало досуг окончательно отделать несколько прежде сего набросан-

---

<sup>15</sup> Сухово-Кобылин А. В. Картины прошедшего. Л.: Наука, 1989. С. 31.

<sup>16</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 221. Л. 7.

ных сцен, и спокойствие угнетаемого, но никогда не угнетенного духа, дало ту внутреннюю тишину, которая есть необходимое условие творчества нашего Духа. Приглашая Вас ныне присутствовать при вступлении на литературное поприще, я прошу Вас, Милостивый государь, принять уверение в моем совершенном уважении»<sup>17</sup>.

В бумагах Сухово-Кобылина есть оттиски нескольких трудов Морошкина: работа «Об участии Московского университета в образовании отечественной юриспруденции» (1849), а также лекции по гражданскому праву, напечатанные по-смертно в «Юридическом вестнике» (1860—1861). Материалы эти хранят следы сухово-кобылинских рассуждений, пометы в тексте и на полях. «Гражданское Законодательство в Западной Европе сложилось под влиянием трех главных Факторов: римского, канонического и германского права. На основе римского права, влияние которого сохранилось преимущественно в области обязательного права, создан французский гражданский кодекс 1804 — Code Civil<sup>18</sup> (а с 1807 Code Napoléon<sup>19</sup>). В Англии гражданское право ни в практике, ни в науке не выделилось в общую систему права. И главная основа права там — накопившийся веками опыт судебных разбирательств самого разного толка. Английские юристы систематизируют Common Law<sup>20</sup>. Составление правовых классификаций суть главный предмет их неизменной деятельности. <...>

В России нет и не может быть никаких законов... Рак Чиновничества<sup>21</sup> и неистребимое Воровство разъедают ее Тело»<sup>22</sup>.

С некоторой долей осторожности можно предположить, что Ф. Л. Морошкин был причастен к формированию взглядов Сухово-Кобылина на ход событий в истории, ее законы.

---

<sup>17</sup> Дело Сухово-Кобылина. М.: НЛО, 2002. С. 266.

<sup>18</sup> Гражданский кодекс французов (C o d e C i v i l des Français).

<sup>19</sup> Кодекс Наполеона.

<sup>20</sup> Общее право (англ.).

<sup>21</sup> Словесная формула, употреблена также в памфлете «Квартет»; см.: Сухово-Кобылин... 1989. С. 331.

<sup>22</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 221. Л. 14 об.

В исторической концепции Сухова-Кобылина (говоря о ней, мы имеем в виду некую сумму постоянных высказываний-формул, с небольшими изменениями повторяющихся в дневниках, письмах, драматических текстах) прочитывается «морошкинский» пласт мысли, хорошо известный современникам.

Так, к примеру, идея о неизбежности появления в русской истории фигуры Петра Первого, исключительности петровского исторического поворота была сформулирована Морошкиным в речи, произнесенной на университетском акте в 1839 г.



Ф. Л. Морошкин.

Историко-критические исследования о руссах и славянах. СПб., 1842

Большой пассаж из этой речи цитирует Белинский: «Явился царь с горящей мыслью в очах, с отважной думой на челе и с громоносным словом власти! Он страшный кинул взор на царствующий град, сурово посмотрел на даль прошедшего и двинул царство от него.... Но провидение знало, где произвести на свет необычайного смертного. Только рус-

ский корабль мог сдерживать такого страшного пассажира! Только русское море могло носить на хребте своем столь отважного мореходца! Только Россия могла не треснуть от этого духа, который напрягал ее, чтобы уравнять ее силы с своей исполинской мощию! Дивное явление! От сложения мира не было такого государя!..... Если природа должна была уступить ему, то что ж могла сделать из него наука? Какой немец мог быть ему детоводцем, какой француз учителем? И природа, и науки отступились, когда этот великий дух помчал русскую жизнь по открытому морю всемирной истории!»<sup>23</sup>.

В «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина продолжение цитируемого фрагмента становится одной из памфлетных линий очерка: «Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился „Медный всадник“ Пушкина, и тут же кстати пришли на ум и слова профессора Морошкина о Петре: „Но великий человек не приобщался нашим слабостям! Он не знал, что мы плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и слабы и худы, нам нужны были общие уставы человеческие!“ Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их»<sup>24</sup>.

Сухово-Кобылину, безусловно, известны были историософские идеи Морошкина, так как на полях рукописи, работая над второй частью драматической трилогии, пьесой «Дело» (редакции 1861 г.), сохранились соответствующие пометы. Текст этой пьесы, как известно, насыщен памфлетными экскурсами во всемирную и русскую историю. На полях рукописи, против слов Ивана Сидорова: «Было на наше землю три нашествия: набегали Татары, находил Француз, а теперь чиновники облегли; а земля наша что? И смотреть жалостно: проболела до костей... пропита в кабаках, и лежит она на большой степи неумытая Россия, рогожей укрытая, с пере-

---

<sup>23</sup> *Белинский В.Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М.;Л., 1953—1959. Т. 5. С. 147—148.

<sup>24</sup> *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1965—1977. Т. 11. С. 238.

пою слабая»<sup>25</sup> — он помечает: «Про Петра складно врет Морошкин»<sup>26</sup>. В тот же год в дневнике (февраль 1858 г.) Сухово-Кобылин записывает мысли, пришедшие в голову после чтения «Русского вестника»: «В Русской истории 4 Великих Лжи, а именно:

1-я Ложь. Добровольное призвание новгородцами по совету смерда Гостомысла из-за моря варягов.....

2-я Ложь. Эпохи Самозванцев.....

3-я Ложь. Петр Первый...

4-я Ложь 1812 года. Ложь сожжения Москвы.....»<sup>27</sup>.

Есть еще один эпизод в сухово-кобылинском университетском сюжете, связанном с именем Морошкина. Публикации морошкинских лекций и записи о них Сухово-Кобылина по времени совпали со студенческими волнениями 1860-х гг. (в них участвовал и Евгений Салиас-де-Турнемир, племянник Сухово-Кобылина). Возможно, этими событиями и объясняются маргиналии на полях оттисков лекционного курса об «университетской лжи», «великой университетской смуте»<sup>28</sup>.

И, наконец, последнее. В архиве Сухово-Кобылина есть план неопубликованной статьи Морошкина «Об участии Московского университета в развитии народного образования в России». Датируется он предположительно второй половиной 1850-х гг.. В этом конспекте сформулированы контуры концепции создания университетской сети школ, объединенных единым уставом и общей системой преподавания и подготовки учащихся. Очевидно, Сухово-Кобылин предполагал оппонировать своему воспитателю. Рукопись Сухово-Кобылина «Университетское воспитание, или Чего наш народ не знает?»<sup>29</sup> отчасти может рассматриваться как косвенная проработка вопроса, поднятого Морошкиным. Приводим текст этой рукописи:

---

<sup>25</sup> Сухово-Кобылин... 1989. С. 102.

<sup>26</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 119. Л. 4 об.

<sup>27</sup> Дело Сухово-Кобылина... 2002. С. 328.

<sup>28</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 221. Л. 17, 18.

<sup>29</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 224. Л. 34—38 об.



Морошкин Ф. Об участии Московского Университета  
в образовании отечественной юриспруденции. М., 1834

«Университет, порождение европейское, противопоказан русскому укладу. И не способен привиться на русской почве. Университетское воспитание — это не просто учение, а образ жизни, определенным способом развитый в нравственном и индустриальном отношении. Он же [народ. — Е. П.] не знает главного: личного достоинства человека. Отсюда отсутствие понятия чести, права и гражданства. Однако в народе существует некоторого рода кредит. Однако существует некоторого рода законность... Косность, непосредственная косность, лень ума и рук, если она не апатия после огромных несчастий или идиотизм, необходимо заставляет предполагать отсутствие понятия о личном достоинстве.

Народ не знает никакого научного объяснения естественных явлений и приложения науки к промышленности. Его труд основан на неподвижной рутине, и все его понятия в механике и земледелии тотчас перебрасываются в невежество...

Это незнание трудно устранить лишь одним просвещением. Учение оказывается слишком слабым лекарством.

Народ привык думать, что рожден рабом. В привычке к рабству и в вере в фатализм Божьего произвола — корень всех его заблуждений и предрассудков... Наше „авось” выражает положительное вероятие и употребляется беспрестанно, особенно с присовокуплением: Бог поможет. „Авось Бог поможет” даже на языке наших воров — весьма обыденная поговорка.

Что же такое вера в фатализм Провидения?.... Это ужаснейший формализм веры... Это начало лежит в нашей Церкви, которая не столько выезжает на христианской морали и Моисеевых заповедях, сколько на формальном богослужении обрядов, постов, земных поклонов... Наша народная вера в фатализм божьего произвола есть рабский страх перед властью, признанной формально, без всякого нравственного содержания; это какой-то обрусившийся иудаизм, который поддерживает косность, рабскую робость, уничтожает самостоятельность человека, мешает пользоваться изучением сил природы, и все нравственные понятия сводит на жалкий формализм церковных постановлений.

Привычка к рабству, признанному законодательством, дает нам формальную законность помимо всякого правосудия и общинный быт, который есть формальное равенство. Наша община есть равенство рабства... Мир (мирское управление) есть сборище, на котором каждый является палачом и жертвой. Завистником и боящимся зависти; мир есть выражение зависти всех против одного, общины против лица.

Если на Западе равенство требует, чтобы всем было равно хорошо, то на миру равенство требует, чтобы всем было равно дурно. Результат всего общинного, административного и судебного устройства тот, что русский человек не в состоянии понять. Чтобы человек мог не принадлежать чему-нибудь, что он может быть сам по себе. Все, что здравый смысл должен вносить в общественную жизнь, у нас пробивается по секрету. Обходя обманом закон... Все это опять приводит к отсутствию деятельности и честности, к вечному испугу и нехотению постоять за свое право открыто. Гражданственный формализм делает то, что для народа идеал грамотного человека есть де-

латель фальшивых бумаг, то есть человек, который может писать фальшивые виды и кляузные просьбы и ответы; а между тем кляуза есть — хотя воровским путем — восстановление общечеловеческого права, потому что обманывает формализм гражданственности, отличающийся отсутствием права. Странное совпадение плутовства с правосудием!»<sup>30</sup>.

Пустая форма, исполнение обрядовых формальностей во всех повседневных процедурах (от вывешивания колокольчика пьяным Тишкой в первых сценах «Свадьбы Кречинского», формально повторяющих ритмическую и интонационную фактуру диалогов гоголевских персонажей, до всей гротескной канвы последней пьесы трилогии — «Смерти Тарелкина»; фальшивый жених Кречинский, фальшивы несуществующий бычок, которого шулер обещает подарить своему будущему тестю Муромскому, наконец, фальшивая булавка с солитером, ставшая поводом к разоблачению обмана; фальшивые бумаги, обещания, наконец, фальшив Тарелкин-Копылов, с его накладным париком и фальшивыми зубами, способностью превращаться) концентрируется в метафоре оборотничества, невидимо и зловеще охватившего всю Россию.

«Не Университетское просвещение должно осветить закоулки российской жизни, а средство, гораздо более радикальное. Пожар сможет выжечь метастазы раковых опухолей и расчистить место»<sup>31</sup>.

Стилистика Сухова-Кобылина не в последнюю очередь была навеяна наставником, сначала домашним, затем университетским. Житейская «припадочность» которого, странность, точно сохраненная и переданная в мемуарах Евгении Тур, через непосредственное общение и прозорливые страстные сочинения заразила ученика и пустила корни в его эпистолярии, публицистике, известной узкому кругу лиц, но самое главное — причудливо проросла в его драматических сочинениях.

---

<sup>30</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 224. Л. 34, 34 об., 35, 35 об., 36, 37, 38, 38 об.

<sup>31</sup> РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 224. Л. 39.